НИЦШЕ ФРИДРИХ

Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий мыслитель-иррационалист, который дал пролог к новой культурно-философской ориентации, заложив фундамент "философии жизни". В творчестве и личной судьбе Ницше наиболее драматично отразился кризисный характер переходной эпохи на рубеже XIX–XX вв., выразившийся в разочаровании и пессимизме, в тотальной утрате веры в разум и религию. Три этапа принято различать в творчестве Ницше. На первом – он в основном находился под влиянием идей Шопенгауэра и Вагнера и занимался эстетической проблематикой. Главные его книги этого времени – "Происхождение трагедии из духа музыки" и "Несвоевременные размышления", а также "Рождение трагедии или Эллинство и пессимизм". Второй этап – изучение проблем человеческого познания, интерес к позитивизму и "положительным" наукам – естествознанию, математике, химии, истории, экономике. Главные труды: "Человеческое, слишком человеческое", "Утренняя заря", "Веселая наука". В этих работах продолжается резкая критика морали современного Ницше общества. Третий этап – период зрелого Ницше или собственно ницшеанский, проникнутый идеей "воли к власти", или в более точном переводе "воли к мощи". Главные работы этого периода: "Так говорил Заратустра", "По ту сторону добра и зла", "Генеалогия морали", "Антихристианин". На этом этапе философская концепция Ницше приобретает относительно завершенный вид, разрабатывается культурно-этический идеал в виде идеи о "сверхчеловеке" и о "вечном возвращении", развивается идея "переоценки всех ценностей".

Ницше вслед за Шопенгауэром полагает, что в мире существует некая антиэнтропийная сила, разлитая по всей вселенной как ее организующее начало, которое нам дано в виде жизни. Ничем не ограниченную активность этой силы (воли к власти, мощи) Ницше противопоставил шопенгауэровской пассивности, стремлению к покою и эстетствующему безволию. Неизлечимо больной, постоянно страдающий от физической боли, он знал цену жизни. Ницше выдвигает противоположный идее своего духовного наставника тезис: "Жизнь есть благо". Чем сильнее, полнее, ярче жизнь, тем лучше. Не нужно от нее убегать, если даже она полна страданий и трагизма.

Понятие жизни у Ницше – это универсальная характеристика бытия, а не принадлежащее только биологическому миру качество. Все его творчество пронизано идеей утверждения жизни и жаждой "мощных людей". Что же касается современной культуры с ее ориентацией на науку (истоки которой он прослеживает начиная с Сократа), она оказалась глубоко враждебной жизни, так как опиралась на искусственный, все схематизирующий разум, глубоко чуждый инстинктивной в ее основе жизни. Ницше считал, что европейская культура чахнет, идет к своему закату из-за того, что ориентирована на идеалы, противоречащие жизни, воле к власти. Одним из таких ложных ориентиров является научный тип мышления, разлагающий все живое на мертвые составляющие части, пониманию предпочитающий объяснение, а чувствам – холодный расчет. Самое главное в человеке невыразимо в рациональных схемах науки, его может передать только искусство. Поэтому свою философию Ницше развивает как антинауку, предпочитающую логичности и системности эмоциональность художественного текста, граничащую с музыкальностью. Еще одним ограничивающим жизнь ориентиром, разрушающим ее основы, является христианская мораль, вред которой Ницше усматривал в его противоречащей жизни апологетике слабости, всепрощения, ненасилия. Именно христианство виновато в насаждении в обществе "морали рабов". Проповедуя идею торжества жизни, Ницше в своих произведениях выступает против возведения любых рамок, ее ограничивающих. Добиться перелома в европейской культуре можно, лишь осуществив переоценку ее фундаментальных ценностей. Вместе с религиозными ценностями он призывает пересмотреть и нравственные. "Чего добиваются религия и мораль?" – спрашивает Ницше. Воспроизводства "среднего человека", обывателя, лишенного творческого начала. Мораль – это средство подчинить человека интересам рода. Культура через моральные нормы создает "винтики", исправно выполняющие функции в огромном механизме государства-машины. По мнению Ницше, традиционная мораль требовала от человека "не заниматься собой, не думать о себе, отнимать у себя силы и время. Работать, уставать, носить иго "обязанностей"… вот какова нравственность или, вернее великое рабство". Главная проблема всей жизни и философии Ницше, которая найдет наиболее полное воплощение в произведении "Так говорил Заратустра", – как, каким путем создать такую культуру, подчиняясь которой человек мог бы облагородить свой внутренний мир и воспитать себя самого. Полный решимости "возвратить людям ясность духа, простоту и величие", главную положительную задачу своей философии Ницше видел в утверждении верховной ценности культурного совершенствования человека, в результате которого должен появиться новый тип человека, превосходящий современных людей по своим морально-интеллектуальным качествам. В роли такого культурно-этического идеала выступает образ сверхчеловека. Сверхчеловек Ницше – это прежде всего творец, обладающий сильной, стремительной, "длинной волей", творец самого себя как автономной и свободной личности. Сверхчеловеком не рождаются, он не представитель какой-либо высшей расы или народа, высшим человеком – "аристократом духа" можно стать, лишь ежедневно убивая в себе "тварь", созидая себя, создавая новые ценности: "Новое хочет творить благородный – новую добродетель". На пути творения новых ценностей Ницше столкнулся с могучим противником в лице всей морали современной ему философии, поэтому он решает "радикальным сомнением в ценностях ниспровергнуть все оценки, чтобы очистить дорогу". Так начинается великая война Ницше за освобождение людей от власти духов и социальных авторитетов, вошедшая в историю культуры под броским лозунгом "переоценки бывших до сего времени ценностей".

**\* \* \***

Текст из: Ницше Ф. "Веселая наука"

 Мой собственный дом – мое пристрастье,

 Никому и ни в чем я не подражал,

 И – мне все еще смешон каждый Мастер,

 Кто сам себя не осмеял.

 Над моей входной дверью

Благородное и пошлое. Пошлым натурам все благородные, великодушные чувства кажутся нецелесообразными и оттого первым делом заслуживающими недоверия: они хлопают глазами, слыша о подобных чувствах, и как бы желают сказать: "наверное, здесь кроется какая-то большая выгода, нельзя же всего знать" они имеют подозрение к благородному, как если бы оно окольными путями искало себе выгоды. Если же они воочию убеждаются в отсутствии своекорыстных умыслов и прибылей, то благородный человек кажется им каким-то глупцом: они презирают его в его радости и смеются над блеском его глаз. "Как можно радоваться собственному убытку, как можно с открытыми глазами очутиться в проигрыше!

С благородными склонностями должна быть связана какая-то болезнь ума" – так думают они и при этом поглядывают свысока, не скрывая презрения к радости, которую сумасшедший испытывает от своей навязчивой идеи. Пошлая натура тем и отличается, что она незыблемо блюдет собственную выгоду и что эта мысль о цели и выгоде в ней сильнее самых сильных влечений: не соблазниться своими влечениями к нецелесообразным поступкам – такова ее мудрость и ее самолюбие. В сравнении с нею высшая натура оказывается менее разумной, ибо благородный, великодушный, самоотверженный уступает на деле собственным влечениям и в лучшие свои мгновения дает разуму передышку. Зверь, охраняющий с опасностью для жизни своих детенышей или следующий во время течки за самкою даже на смерть, не думает об опасности и смерти; его ум равным образом делает передышку, ибо удовольствие, возбуждаемое в нем его приплодом или самкою, и боязнь лишиться этого удовольствия в полной мере владеют им; подобно благородному и великодушному человеку, он делается глупее прежнего. Чувства удовольствия и неудовольствия здесь столь сильны, что интеллект в их присутствии должен замолкнуть либо пойти к ним в услужение: тогда у такого человека сердце переходит в голову, и это называется отныне "страстью".

Вкус высшей натуры обращается на исключения; на вещи, которые по обыкновению никого не трогают и выглядят лишенными всяческой сладости; высшей натуре присуща своеобычная мера стоимости. При этом большей частью она и не предполагает, что в идиосинкразии ее вкуса наличествует эта самая своеобычная мера стоимости; скорее, она принимает собственные представления о ценности и никчемности за общезначимые и упирается тем самым в непонятное и непрактичное. Крайне редкий случай, когда высшая натура в такой степени обладает разумом, что понимает обывателей и обращается с ними, как они есть; в большинстве случаев она верит в собственную страсть как в нечто неявно присущее всем людям, и именно эта вера исполняет ее пыла и красноречия.

Что значит жизнь? Жить – это значит: постоянно отбрасывать от себя то, что хочет умереть; жить – это значит: быть жестоким и беспощадным ко всему, что становится слабым и старым в нас, и не только в нас. Жить – значит ли это, следовательно: быть непочтительным к умирающим, отверженным и старым? Быть и всегда убийцею? – И все-таки старый Моисей сказал: "Не убий!"

Работа и скука. Искать себе работы ради заработка – в этом нынче сходны между собой почти все люди цивилизованных стран; всем им работа предстает как средство, а не сама цель; оттого они обнаруживают столь мало разборчивости в выборе работы, допустив, что она сулит им немалый барыш. Но есть и редкие люди, которые охотнее погибли бы, чем работали бы без удовольствия от работы,- те разборчивые, трудно удовлетворяемые люди, которых не заманишь хорошей прибылью, ежели сама работа не есть прибыль всех прибылей. К этой редкой породе людей принадлежат художники и созерцатели всякого рода, но также и те праздные гуляки, которые проводят жизнь в охоте, путешествиях или в любовных похождениях и авантюрах. Все они лишь в той мере ищут работы и нужды, в какой это сопряжено с удовольствием, будь это даже тяжелейший, суровейший труд. Иначе они остаются решительными лентяями, хотя бы лень эта и сулила им обнищание, бесчестье, опасность для здоровья и жизни. Скуки они страшатся не столь сильно, как работы без удовольствия: им даже потребна многая скука для лучшего выполнения их работы. Мыслителю и всем изобретательным умам скука предстает как то неприятное "безветрие" души, которое предшествует счастливому плаванию и веселым ветрам; он должен вынести ее, должен переждать в себе ее действие. – Это как раз и есть то, чего никак не могут требовать от себя более убогие натуры! Отгонять от себя скуку любым путем – пошло, столь же пошло, как работать без удовольствия.

Реалистам. Вы, трезвые люди, чувствующие себя вооруженными против страстей и фантазерства и охотно старающиеся выдать свою пустоту за гордость и украшение,— вы называете себя реалистами и даете понять, что мир в действительности сотворен так, каким он предстает вам,— что лишь перед вами предстает действительность разоблаченной и что сами вы, пожалуй, составляете лучшую ее часть – о вы, возлюбленные Саисские изваяния! Но даже в самом разоблаченном состоянии не предстаете ли и сами вы все еще в высшей степени страстными и темными существами, сродни рыбам, и не слишком ли схожи вы все еще с влюбленным художником? – а что для влюбленного художника "действительность"! Вы все еще торгуете вразнос оценками вещей, убегающих корнями в страсти и влюбленности прошедших столетий! Все еще прохвачена ваша трезвость сокровенным и неискоренимым опьянением! Ваша любовь к "действительности", например, – о, до чего же это старая-престарая "любовь"! В каждом ощущении, в каждом чувственном впечатлении явлен обломок этой старой любви, и равным образом сюда вплетены фантастика, предрассудки, неразумие, неведение, страх и мало ли что еще. Вот эта гора! Вон то облако! Что в них "действительного"? Стряхните-ка однажды с них иллюзию и всю человеческую примесь, вы, трезвые! Да если бы только вы смогли это! Если бы вам удалось забыть ваше происхождение, ваше прошлое, ваше детство – всю вашу человечность и животность! Для нас не существует никакой "действительности" – да и для вас тоже, вы, трезвые, – мы далеко не так чужды друг другу, как вы думаете, и, возможно, наша добрая воля выйти из опьянения в такой же степени заслуживает внимания, как и ваша вера в то, что вы вообще неспособны на опьянение.

Четыре заблуждения. Человек воспитан своими заблуждениями: во-первых, он всегда видел себя лишь в незаконченном виде, во-вторых, он приписывал себе измышленные свойства, в-третьих, он чувствовал себя относительно животного мира и природы в ложной иерархической последовательности, в-четвертых, он всегда открывал себе новые скрижали блага и на время принимал их как нечто вечное и безусловное, так что на первом месте стояло то одно, то другое человеческое стремление и состояние и облагораживалось вследствие этой оценки. Если скинуть со счетов действие этих четырех заблуждений, то придется скинуть со счетов также гуманность, человечность и "человеческое достоинство".

*Источник*: Ницше Ф. Соч. в двух томах. Т. 1 – М., 1990 – С. 516-517, 535, 542, 550, 587-558.

**Вопросы к тексту:**

1. Что есть благородство и почему благородный человек в глазах обывателя является глупцом?
2. Как в работе и скуке проявляет себя благородство и пошлость?
3. Какую оценку позиции реалиста дает Ницше? В понимании Ницше и в представлении реалиста "действительность" объективна или субъективна?
4. Согласны ли Вы с Ницше, что жестокость и беспощадность способствует утверждению жизни?
5. Какова природа гуманности, человечности и "человеческого достоинства" по Ницше?

ФРЕЙД ЗИГМУНД

Зигмунд Фрейд (1856–1939) – австрийский, немецкий невропатолог, психиатр, психолог, создатель психоанализа. Первоначально фрейдизм возник на основе концепции объяснения и лечения неврозов, учитывающей взаимоотношения бессознательной сферы с сознанием, процесс самоутверждения личности, попавшей в конфликтную ситуацию. Согласно Фрейду, основу бессознательногосоставляют сексуальные инстинкты (либидо), обусловливающие не только большинство психических действий человека, но и все исторические события и общественные явления: извечные конфликты в глубинах психики человека становятся причиной и содержанием (часто скрытым от непосредственного осознания) морали, искусства, науки, религии, государства, права, войн и т. п. Психоанализ Фрейд развивал сначала как психотерапию для лечения различных форм истерии, а потом преобразовал в учение о собственной закономерности и действии бессознательного, в особенности в сфере влечений, инстинктов. Влечения порождают представления, которые – если они не реализуются – вызывают невроз душевной жизни.

**\* \* \***

Текст из: Фрейд З. «Мы и смерть»

Почтенные председательствующие и дорогие братья!

Прошу вас, не думайте, что я дал своему докладу столь зловещее название в приступе озорства. Я знаю, что многие люди ничего не желают слышать о смерти, быть может, есть такие и среди вас, и я ни в коем случае не хотел заманивать их на собрание, где им придется промучиться целый час. Кроме того, я мог бы изменить и вторую часть названия. Мой доклад мог бы называться не "Мы и смерть", а "Мы, евреи, и смерть", поскольку то отношение к смерти, о котором я хочу с вами поговорить, проявляем чаще всего и ярче всего именно мы, евреи.

Между тем вы легко вообразите, что привело меня к выбору этой темы. Это череда ужасных войн, свирепствующих в наше время и лишающих нас ориентации в жизни. Я подметил, как мне кажется, что среди воздействующих на нас и сбивающих нас с толку моментов первое место занимает изменение нашего отношения к смерти.

Каково ныне наше отношение к смерти? По-моему, оно достойно удивления. В целом мы ведем себя так, как если бы хотели элиминировать смерть из жизни; мы, так сказать, пытаемся хранить на ее счет гробовое молчание; мы думаем о ней – как о смерти!

Разумеется, мы не можем следовать этой тенденции беспрепятственно. Ведь смерть то и дело напоминает о себе. И тут мы испытываем глубокое потрясение, словно нечто необычайное внезапно опрокинуло нашу безопасность. Мы говорим: "Ужасно!" – когда разбивается отважный летчик или альпинист, когда во время пожара на фабрике гибнут двадцать молоденьких работниц или даже когда идет ко дну корабль с несколькими сотнями пассажиров на борту. Особенное впечатление производит на нас смерть кого-нибудь из наших знакомых; если умирает известный нам Н. или его брат, мы даже участвуем в похоронах. Но никто бы не мог заключить, исходя из нашего поведения, что мы признаем смерть неизбежной и твердо убеждены в том, что каждый из нас обречен природой на смерть. Наоборот, всякий раз мы находим объяснение, сводящее эту неизбежность к случайности. Один умер, потому что заболел инфекционным воспалением легких – никакой неизбежности в этом не было; другой уже давно тяжело болел, только не знал об этом; третий же был очень стар и дряхл. Когда речь заходит о ком-нибудь из нас, евреев, можно подумать, будто ни один еврей вообще никогда не умирал от естественных причин. На худой конец, его залечил доктор, иначе он жил бы и поныне. Мы, правда, допускаем, что рано или поздно всем придется умереть, но это "рано или поздно" мы умеем отодвигать в необозримую даль. Когда у еврея спрашивают, сколько ему лет, он бодро отвечает: "До ста двадцати осталось лет этак шестьдесят!"

Психоаналитическая школа, которую я, как вам известно, представляю, смеет утверждать, что мы – каждый из нас – в глубине души не верим в собственную смерть. Мы просто не в силах ее себе представить. При всех попытках вообразить, как все будет после нашей смерти, кто будет нас оплакивать и т.д., мы можем заметить, что сами, собственно говоря, продолжаем присутствовать при этом в качестве наблюдателей. И впрямь, трудно отдельному человеку проникнуться убеждением в собственной смертности. Когда он получает возможность проделать решающий опыт, он уже недоступен любым доводам.

Только черствый или злой человек рассчитывает на смерть другого или думает о ней. Мягкие, добрые люди, такие, как мы с вами, сопротивляются подобным мыслям, особенно если смерть другого человека может принести нам выгоду – свободу, положение, обеспеченность. А если все-таки случилось так, что этот другой умер, мы восхищаемся им, чуть ли не как героем, совершившим нечто из ряда вон выходящее. Если мы враждовали, то теперь мы с ним примиряемся, перестаем его критиковать. О мертвых следует говорить хорошее или ничего не говорить, и мы с удовольствием допускаем, чтобы на его надгробии начертали малодостоверную хвалебную эпитафию. Но когда смерть настигает дорогого нам человека – кого-нибудь из родителей, мужа или жену, брата, сестру, ребенка, друга – мы оказываемся совершенно беззащитны. Мы хороним с ним наши надежды, притязания, радости, отвергаем утешения и не желаем замены утраченному. Мы ведем себя как люди из рода Азра, умирающие вместе с любимыми.

Однако подобное отношение к смерти накладывает глубокий отпечаток на нашу жизнь. Она обедняется, тускнеет. Наши эмоциональные связи, невыносимая интенсивность нашей скорби делают из нас трусов, склонных избегать опасности, грозящей нам или нашим близким. Мы не осмеливаемся затевать некоторые, в сущности, необходимые предприятия, такие, как воздушные полеты, экспедиции в дальние страны, опыты со взрывчатыми веществами. Нас при этом гнетет мысль о том, кто заменит матери сына, жене мужа, детям отца, если произойдет несчастный случай, – а между тем все эти предприятия необходимы. Вы знаете девиз Ганзы: "Navigare necesse est, vivere non necesse" ("Плавать мы обязаны, жить не обязаны").

Я говорю, что жизнь теряет содержательность и интерес, когда из жизненной борьбы исключена наивысшая ставка, то есть сама жизнь. Она становится пустой и пресной, как американский флирт, при котором заранее известно, что ничего не должно случиться, в отличие от любовных отношений в Европе, при которых обоим партнерам приходится помнить о постоянно подстерегающей их опасности. Нам необходимо чем-то вознаградить себя за это оскудение жизни, и вот мы обращаемся к миру воображаемого, к литературе, театру. На сцене мы находим людей, которые еще умеют умирать, да к тому же умереть могут только другие. Здесь мы удовлетворяем свое желание видеть саму жизнь, ставшую значительной ставкой в жизни, причем не для нас, а для другого. Собственно, мы бы ничуть не возражали против смерти, если бы она не полагала конец жизни, которая дается нам только один раз. Все-таки слишком это жестоко, что в жизни с нами может случиться то же, что в шахматной партии: один-единственный неверный ход может вынудить нас к признанию своего проигрыша, с тем, однако, отличием, что отыграться в следующей партии нам не удастся. В области вымысла мы находим то разнообразие жизней, в котором испытываем потребность. Мы умираем с одним из героев, но все-таки переживаем его, а при случае умираем еще раз с другим героем без малейшего для себя ущерба.

Что же меняет ныне война в этом нашем отношении к смерти? Очень многое. Наш договор со смертью, как я бы его назвал, перестает соблюдаться так, как прежде. Мы уже не можем упускать смерть из виду, нам приходится в нее поверить. Теперь люди умирают по-настоящему, и не единицы, а во множестве, подчас десятки тысяч в день. К тому же теперь это уже не случайность. Правда, может показаться, будто пуля случайно поражает одного и минует другого, но нагромождение смертей быстро кладет конец этому ощущению случайности. Зато жизнь, разумеется, снова становится интереснее, к ней возвращается полностью все ее содержание.

Здесь следовало бы разделить людей на две категории: тех, что сами участвуют в войне и рискуют собственными жизнями, следует отличать от других, которые остались дома и которым приходится только опасаться утраты близких, рискующих умереть от раны или болезни. Крайне интересно было бы, если бы мы обладали возможностью исследовать, какие душевные изменения влечет за собой у воюющих готовность к самопожертвованию. Но я об этом ничего не знаю; я, как и вы все, принадлежу ко второй группе, к тем, которые остались дома и дрожат за дорогих им людей. По моему впечатлению, та апатия, тот паралич воли, что присущ мне так же, как другим людям, находящимся в том же положении, что я, определяются в большей степени тем обстоятельством, что мы более не в силах поддерживать прежнее отношение к смерти, а нового взгляда на нее еще не нашли. Быть может, нашей с вами переориентации будет способствовать попытка сопоставить два разных отношения к смерти – то, которое мы вправе приписать древнему человеку, человеку первобытных времен, и другое, то, что сохраняется в каждом из нас, но незаметно для нашего сознания таится в глубочайших пластах нашей душевной жизни.

До сих пор я не сказал вам, дорогие братья, ничего такого, чего бы вы не могли знать и чувствовать так же хорошо, как я. А теперь мне выпадает возможность сказать вам нечто, о чем вы, быть может, не знаете, а также нечто другое, что наверняка вызовет у вас недоверие. Мне придется с этим смириться.

Итак, каким же образом относился к смерти первобытный человек? Его отношение к смерти было весьма примечательно и лишено какой бы то ни было цельности, но скорее даже противоречиво. Однако впоследствии мы поймем причину этой противоречивости. Человек, с одной стороны, принимал смерть всерьез, признавал ее уничтожением жизни и в этом смысле пользовался ею, но, с другой стороны, отвергал ее, начисто ее отрицал. Почему это возможно? Потому, что к смерти другого, чужака, врага он относился в корне иначе, чем к собственной смерти. Смерть другого не вызывала у него возражений, он воспринимал ее как уничтожение и жаждал ее достичь. Первобытный человек был страстным существом, свирепым и коварным, как звери. Никакой инстинкт, имеющийся, по общему мнению, у большинства диких зверей, не препятствовал ему убивать и разрывать на куски существо своей же породы. Он убивал охотно и не ведая сомнений.

Древняя история человечества также полна убийств. И сегодня древняя история в том виде, как ее изучают наши дети в школе, представляет собой, в сущности, череду геноцидов. Смутное ощущение вины, изначально присущее человечеству, во многих религиях воплотившееся в признание исконной виновности, первородного греха, представляет собой, по всей видимости, память о преступлении, за которое несут ответственность первобытные люди. Из христианского вероучения мы еще можем вынести догадку о том, в чем состояло это преступление. Если сын Божий принес свою жизнь в жертву, чтобы искупить первородный грех человечества, то, согласно закону талиона, предписывающему воздаяние мерой за меру, этим грехом было убийство, умерщвление. Только оно могло потребовать в качестве возмездия такой жертвы, как жизнь. А поскольку первородный грех был виной перед Богом-отцом, значит, наидревнейшим преступлением человечества было, по всей видимости, умерщвление прародителя кочующим племенем первобытных людей, в памяти которых образ убитого позже преобразился в божество. В своей книге "Тотем и табу" (1913) я постарался собрать аргументы в пользу такого понимания изначальной вины.

Впрочем, разрешите мне заметить, что учение о первородном грехе не изобретено христианством, а представляет собой часть древнейших верований, которая долгое время сохранялась в подземных течениях разных религий. Иудаизм тщательно отодвинул в сторону эти смутные воспоминания человечества, и, быть может, именно поэтому он лишился права быть мировой религией.

Давайте же вернемся к первобытному человеку с его отношением к смерти. Мы слышали, как он относился к смерти чужака. Его собственная смерть была для него точно так же невообразима и неправдоподобна, как ныне для любого из нас. Однако для него был возможен случай, когда оба противоположных представления о смерти смыкались и вступали между собой в конфликт, и этот случай имел огромное значение и был чреват далеко идущими последствиями. Речь идет о случае, когда первобытный человек видел, как умирает кто-то из его близких – жена, ребенок, друг - которых он любил совсем так же, как мы любим своих близких, потому что любовь – чувство ничуть не менее древнее, чем кровожадность. Так он убеждался на опыте, что человек может умереть, потому что каждый из тех, кого он любил, был частицей его "Я", но, с другой стороны, в каждом из этих любимых была и частица ему чуждая. Согласно законам психологии, которые верны и поныне, а в первобытные времена власть их распространялась еще шире, чем теперь, эти любимые оказывались одновременно также и чужаками, врагами, вызывавшими также и враждебные чувства.

Философы утверждают, что интеллектуальная загадка, которую картина смерти загадывала первобытному человеку, понуждала его к размышлению и становилась отправной точкой любого его умозрительного рассуждения. Я бы хотел поправить и ограничить этот постулат. Не интеллектуальная загадка и не каждый случай смерти, но конфликт чувств в виде смерти любимого и при этом все же чужого и ненавистного человека раскрепостил человеческую пытливость. Много позже из этого конфликта чувств родилась психология. Первобытный человек уже не мог оспаривать смерть, в своем горе он отчасти узнал на собственном опыте, что это такое, но вместе с тем он не хотел ее признавать, потому что не мог вообразить умершим самого себя. Тогда он пошел на компромисс: он допускал смерть, но отрицал, что она есть то самое уничтожение жизни, которого он мысленно желал своим врагам. Над телом любимого существа он выдумывал духов, воображал разложение индивидуума на плоть и душу – первоначально не одну, а несколько. Вспоминая об умерших, он создавал себе представление об иных формах существования, для которых смерть – это лишь начало, он создавал себе понятие загробной жизни после мнимой смерти. Это дальнейшее существование было поначалу лишь расплывчатой, бессодержательной добавкой к тому, которое завершалось смертью, оно еще носило черты убогости…

И только позже религии удалось придать этому посмертному существованию достоинство и полноценность, а жизнь, завершаемую смертью, низвести всего-навсего до подготовки к нему. Затем, со всей последовательностью, жизнь была продолжена и в сторону прошлого: были придуманы предыдущие существования, второе рождение и переселение душ, и все это преследовало цель лишить смерть ее значения, состоявшего в отмене жизни. Весьма примечательно, что наше Священное писание не приняло в расчет этой потребности человека в гарантии его предсуществования. Напротив, там сказано, что Бога славит только живой. Я предполагаю – а вы безусловно знаете об этом больше, чем я, – что иудейская религия и литература, базирующаяся на Ветхом завете, по-другому относилась к учению о бессмертии. Но я бы хотел отметить и этот пункт в ряду прочих, воспрепятствовавших иудаизму заменить другие древние религии после их упадка.

У тела умершего любимого человека зародились не только представления о душе и вера в бессмертие, но и осознание вины, страх перед смертью и первые этические требования. Осознание вины произошло из двойственного чувства по отношению к покойнику, страх смерти – из идентификации с ним. Такая идентификация с точки зрения логики кажется непоследовательностью, поскольку ведь неверие в собственную смерть не было устранено. В разрешении этого противоречия мы, современные люди, также не продвинулись дальше. Древнейшее требование этики, возникшее тогда, но важное и теперь, гласило: "Не убивай". Первоначально оно касалось любимого человека, но постепенно распространилось на нелюбимых, чужих, а в конце концов и на врага.

Теперь я хотел бы поведать вам об одном странном факте. В некотором смысле первобытный человек сохранился доныне и предстает нам в облике примитивного дикаря, который недалеко ушел от первобытных людей. Теперь вам естественно будет предположить, что этот дикий австралиец, житель Огненной Земли, бушмен и т.д., убивает без всякого раскаяния. Но вы заблуждаетесь, дикарь в этом отношении чувствительней цивилизованного человека, во всяком случае до тех пор, пока его не коснется влияние цивилизации. После успешного завершения свирепствующей ныне мировой войны победоносные немецкие солдаты поспешат домой, к женам и детям, и их не будет удерживать и тревожить мысль о врагах, которых они убили в рукопашном бою или дальнобойным оружием. Но дикарь-победитель, возвращающийся домой с тропы войны, не может вступить в свое селение и увидеть жену, пока не искупит совершенных им на войне убийств покаянием, подчас долгим и трудным. Вы скажете: "Да, дикарь еще суеверен, он боится мести со стороны духов убитых". Но духи убитых врагов есть не что иное, как выражение его нечистой совести по причине содеянного им кровопролития.

Позвольте мне еще немного задержаться на этом древнейшем требовании этики: "Не убивай". Его древность и категоричность позволяют нам прийти к одному важному выводу. Было выдвинуто утверждение, что инстинктивное отвращение перед пролитием крови коренится глубоко в нашей натуре. Набожные души охотно этому верят. Теперь мы с легкостью можем проверить это утверждение. Ведь мы располагаем прекрасными примерами такого инстинктивного, врожденного отвращения.

Давайте вообразим, что мы с вами находимся на юге на прекрасном курорте. Там разбит виноградник с отменным виноградом. В этом винограднике попадаются также и змеи, толстые черные змеи, в сущности, вполне безобидные создания, их еще называют змеями Эскулапа. В винограднике развешаны таблички. Мы читаем одну из них - на ней написано: "Отдыхающим строго запрещается брать в рот голову или хвост змеи Эскулапа". Не правда ли, вы скажете: "В высшей степени бессмысленный и излишний запрет. И без него такое никому в голову не придет". Вы правы. Но мы читаем еще одну такую табличку, предупреждающую, что срывать виноград запрещается. Этот запрет скорее покажется нам оправданным. Нет уж, давайте не будем заблуждаться. У нас нет никакого инстинктивного отвращения перед пролитием крови. Мы потомки бесконечно длинной череды поколений убийц. Страсть к убийству у нас в крови, и, вероятно, скоро мы отыщем ее не только там.

Оставим теперь первобытного человека и обратимся к нашей собственной душевной жизни. Как вы, вероятно, знаете, мы владеем определенным методом исследования, с помощью которого мы можем обнаружить, что происходит в глубинных пластах души, скрытых от сознания, – это своего рода глубинная психология. Итак, мы спрашиваем: "Как относится к проблеме смерти наше бессознательное?" И тут выясняется такое, чему вы не поверите, хотя для вас это также не является новостью, поскольку недавно я вам это уже описывал. Наше бессознательное относится к смерти в точности так же, как относился к ней первобытный человек. В этом плане, как и во многих других, в нас по-прежнему жив первобытный человек в его неизменном виде. Итак, бессознательное в нас не верит в собственную смерть. Оно вынуждено вести себя так, будто мы бессмертны. Быть может, именно в этом кроется тайна героизма. Правда, рациональным обоснованием героизма является мнение, что собственная жизнь может быть не так дорога человеку, как некоторые другие всеобщие и абстрактные ценности. Но, по-моему, чаще мы встречаемся с импульсивным или инстинктивным героизмом, который проявляет себя таким образом, словно черпает уверенность в известном кличе саперов: "Ничего с тобой не случится!" – и заключается, по сути, в том, чтобы сохранить веру бессознательного в бессмертие. Страх смерти, которым мы страдаем чаще, чем нам кажется, являет собой нелогичное противоречие этой уверенности. Впрочем, чаще он имеет не столь древний источник и происходит по большей части от чувства вины.

С другой стороны, мы признаем смерть чужаков и врагов и прочим им смерть, подобно первобытному человеку. Разница лишь в том, что мы не в самом деле насылаем на них смерть, а только думаем об этом и желаем этого. Но когда вы согласитесь с существованием этой так называемой психической реальности, вы сможете сказать: "В нашем бессознательном все мы и поныне – банда убийц. В тайных наших мыслях мы устраняем всех, кто стоит у нас на пути, всех, кто нас огорчает или обижает. Пожелание "Черт бы его побрал!", которое, являясь безобиднейшим междометием, так часто вертится у нас на языке, в сущности, означает: "Смерть бы его побрала!" – и наше бессознательное вкладывает в него мощный и серьезный смысл. Наше бессознательное карает смертью даже за пустяки; как древнее афинское законодательство Дракона, оно признает смерть как единственную меру наказания преступника, из чего следует определенный вывод: каждый ущерб нашему всемогущему и самовластному "Я" является, в сущности, crimen laesae majestatis. Хорошо еще, что все эти свирепые желания не наделены никакой силой. Иначе род людской уже давно бы прекратился, и не уцелел бы никто – ни самые лучшие и мудрые из мужчин, ни самые прекрасные и очаровательные из женщин. Нет, не будем заблуждаться на этот счет, мы по-прежнему те же убийцы, какими были наши предки в первобытные времена.

Я могу рассказать вам об этом совершенно спокойно, потому что знаю, что вы мне все равно не поверите. Вы больше доверяете своему сознанию, отвергающему подобные предположения как клевету. Но я не могу удержаться и не напомнить вам о поэтах и мыслителях, которые понятия не имели о психоанализе, а между тем утверждали нечто подобное. Вот только один пример! Ж.Ж. Руссо в одной из своих книг обрывает рассуждения, чтобы обратиться к читателю с необычным вопросом: "Представьте себе, – говорит он, – что в Пекине находится некий мандарин (а Пекин был тогда еще дальше от Парижа, чем теперь), чья кончина могла бы доставить вам большую выгоду, и вы можете его убить, не покидая Парижа, и, разумеется, так, что никто не узнает о вашем поступке, простым усилием воли. Уверены ли вы, что не сделаете этого?" Что ж, я не сомневаюсь, что среди собравшихся здесь почтенных братьев многие с полным основанием могут утверждать, что они бы этого не сделали. Но, в общем, не хотел бы я быть на месте того мандарина и думаю, что ни одна страховая компания не заключила бы с ним договор о страховании жизни.

Ту же неприятную истину я могу высказать вам в другой форме, так что она даже доставит вам удовольствие. Я знаю, все вы любите слушать шутки и остроты, и надеюсь, вас не слишком заботит вопрос, на чем основано удовольствие, получаемое нами от таких шуток. Есть категории шуток, называемых циничными (...) Открою вам, что тайну таких шуток составляет искусство так подать скрытую или отрицаемую истину, которая сама по себе звучала бы оскорбительно, чтобы она могла даже порадовать нас. Такие формальные приемы понуждают вас к смеху, ваше заранее заготовленное мнение оказывается обезоружено, а потому истина, которой вы в ином случае оказали бы отпор, украдкой проникает в вас. Например, вам знакома история про человека, к которому в присутствии компании знакомых вручили траурное извещение, а он, не читая, сунул листок в карман. "Разве вы не хотите знать, кто умер?" – спрашивают у него. "Ах, какая разница, – гласит ответ, – в любом случае у меня нет возражений". Или другая, про мужа, который, обращаясь к жене, говорит: "Если один из нас умрет, я перееду в Париж". Это циничные шутки, и они бы не были возможны, если бы в них не сообщалась отрицаемая истина. Как известно, в шутку можно даже говорить правду.

Дорогие братья! Вот еще одно полное совпадение между первобытным человеком и нашим бессознательным. И тут, и там возможен такой случай, когда оба устремления, одно – признать смерть уничтожением, а другое – отрицать ее существование, сталкиваются и вступают в конфликт. И случай этот для нашего бессознательного тот же, что и у первобытного человека: смерть или смертельная опасность, грозящая любимому человеку – кому-нибудь из родителей, супругу, брату или сестре, детям или близким друзьям. Эти любимые люди, с одной стороны, внутренне принадлежат нам, входят в состав нашего "Я", но, с другой стороны, они отчасти и чужие нам, то есть враги. Самым сердечным, самым задушевным нашим отношениям, за исключением очень немногих ситуаций, всегда присуща крошечная доля враждебности, дающая толчок бессознательному пожеланию смерти. Но из конфликта обоих стремлений уже рождается не понятие о душе и не этика, а невроз, который позволяет нам глубже познакомиться и с нормальной душевной жизнью. Изобилие преувеличенно нежной заботы между членами семьи покойного и совершенно беспочвенные упреки, которыми они сами себя осыпают, открывают нам глаза на распространенность и важность этого глубоко запрятанного пожелания смерти. Не хочу далее рисовать вам эту оборотную сторону картины. Скорее всего, вы бы ужаснулись, и ужаснулись не напрасно. Природа и здесь устроила все тоньше, чем это сделали бы мы. Нам бы наверняка в голову не пришло, что такое соединение любви с ненавистью может послужить к нашей же пользе. Однако пока природа работает с таким противоречием, она заставляет нас все время будоражить нашу любовь и подновлять ее, чтобы защитить ее от таящейся за нею ненависти. Можно сказать, что прекраснейшие проявления любви существуют благодаря реакции против жала страсти к убийству, которое мы ощущаем у себя в груди.

Подведем итог: наше бессознательное так же недоступно для представления о собственной смерти, так же кровожадно по отношению к чужим, так же двойственно (амбивалентно) по отношению к любимым людям, как первобытный человек. Но как же далеко ушли мы с нашей культурной точкой зрения на смерть от первобытного состояния!

А теперь давайте мы с вами еще раз посмотрим, что делает с нами война. Она смывает с нас позднейшие культурные наслоения и вновь выпускает на свет живущего в нас первобытного человека. Она снова заставляет нас быть героями, не желающими верить в собственную смерть, она указывает нам, что чужаки - наши враги, чьей смерти надо добиваться или желать, она советует нам переступать через смерть тех, кого мы любим. Таким образом, она колеблет наши культурные договоры со смертью. Однако войну упразднить невозможно. Покуда не исчезнут столь огромные различия в условиях существования разных народов и не прекратится столь сильное отталкивание между ними, до тех пор будут и войны. Но возникает вопрос: не следует ли нам уступить и поддаться им? Не следует ли нам признать, что мы с нашим культурным отношением к смерти психологически жили выше, чем нам положено, и должны поскорее повернуть обратно, смириться с истиной? Не лучше ли было бы вернуть смерти в действительности и в наших мыслях то место, которое ей принадлежит, и понемногу извлечь на свет наше бессознательное отношение к смерти, которое до сих пор мы так тщательно подавляли? Я не могу призывать вас к этому как к высшей цели, поскольку прежде всего это было бы шагом назад, регрессией. Но наверняка она способствовала бы тому, чтобы сделать для нас жизнь более сносной, а ведь нести бремя жизни – долг всех живущих. В школе мы слышали политическое изречение древних римлян, гласившее "Si vis pacem, para bellum". Хочешь мира – готовься к войне. Мы можем изменить его сообразно нашим нынешним потребностям: "Si vis vitam, para morten". Если хочешь вынести жизнь, готовься к смерти.

*Источник*: Фрейд З. Мы и смерть / Рязанцев С. Танатология – наука о смерти. – СПб., 1994. – С. 13-25.

**Вопросы к тексту:**

1. Как развивалось отношение к смерти на протяжении истории развития человечества?
2. Какие категории людей по отношению к смерти выделяет автор?
3. Чем З. Фрейд объясняет совпадение бессознательного современного человека с действиями и мыслями первобытных людей?

ЮНГ КАРЛ ГУСТАВ

Карл Густав Юнг (1875-1961) – швейцарский психоаналитик, психиатр, философ культуры. Основатель аналитической психологии, доктор психологии (1902), профессор университетов в Цюрихе (1933–1941) и Базеле (1942). В 1911-1914 – Президент Международного психоаналитического общества. Основ­ные сочинения: "О психологии и патологии так называемых оккультных феноменов" (1902), "Трансцендентная функция" (1916), "Об энергетике души" (1928), "Проблемы души в наше время" (1931), "Действительность души" (1934), "Психология и ре­лигия" (1940), "О психологии бессознательного" (1943), "Психология и алхимия" (1944), "Символика духа" (1948), "Символы трансфор­мации" (1952), "Ответ Иову" (1952), "О корнях сознания" (1954), "Современный миф" (1958), "Подход к бессозна­тельному" (1961) и др. На ранних стадиях философского творчества Юнг ориентировался на концептуаль­ный синтез учения Э. Гартмана о бессознательной воле с те­орией Жане о диссоциации личности. Являясь в 1907-1912 гг. одним из ближайших сотрудников Фрейда, Юнг впос­ледствии осуществил кардинальный пересмотр ряда поло­жений ортодоксального психоанализа, что и обусловило разрыв между Юнгом и Фрейдом в 1913 г. Сохранив фрейдист­скую ориентацию на признание психики в качестве энерге­тической системы, подпитываемой потенциалом соматичес­ких влечений, а также принимая версию о биполярности по­следних, обусловливающую наличие амбивалентных пси­хических структур, Юнг постулировал модель психики как закрытой (а не открытой) сферы, фундированной реализа­цией принципа компенсации, количество энергии в кото­рой – постоянно.)

Значительное внимание уделял разработке оригинальной концепции личности (вопросам ее становления, структуры и самореализации), которую частично изложил в работах "Отношения между Я и бессознательным" (1928), "Неот­крытое Я" (1957) и др. В качестве основного содержания психической жизни человека принимал стремление личнос­ти к полному воплощению своих возможностей и потенций. Наше "Я", по Юнгу, не является подлинным центром психики, его считает таковым лишь современный человек, сознание которого оторвано от бессознательного. Необходима "амп­лификация" – расширение сознания, постигающего свои глубинные основания. Эти психические процессы, веду­щие также и к исчезновению невротических симптомов, Юнг обозначил понятием "индивидуация". Подчеркивая мощь и опасность архаического наследия человечества, та­ящегося в структурах коллективного бессознательного, Юнг отмечал, что психологически люди все еще пребывают на стадии детства. У них пока нет необходимого опыта разви­тия и биопсихической фиксации феноменов культуры. По­лагая, что основой культуры выступает прогресс символо-образования, Юнг истолковывал развитие культуры и чело­века как болезненный процесс подавления инстинктивной природы людей. Трагический разрыв между природой и культурой породил, по Юнгу, универсальный человеческий невроз, который значительно осложняется по мере прогрес­са культуры и деградации окружающей среды. Индустри­альная революция, по мнению Юнга, еще более отдалила че­ловека от его бессознательного и природы. Это повлекло за собой усиление коллективных иррациональных сил, пси­хическую инфляцию, обезличивание и атомизацию людей, появление массового человека с его труднопреодолимым стремлением к катастрофе. Вследствие этого, по Юнгу, нара­стает опасность возникновения различных массовых пси­хозов и господства тоталитаризма. Средствами для обузда­ния неискоренимой агрессивности людей и их неизбывно­го влечения к власти Юнг считал демократию как форму ор­ганизаций общественной жизни и гуманистическое изме­нение жизненных ориентации индивидов. В качестве орга­низованного психоаналитического движения юнгианство оформилось вскоре после Второй Мировой войны: в 1948 г. в Цюрихе был образован Институт им. Юнга, а в 1958 г. – Международное общество аналитической психологии.

**\* \* \***

Текст из: Юнг К.-Г. "Человек и его символы"

Рассмотрение проблем, касающихся стадий человеческого развития, является весьма ответственной задачей, потому что это означает не что иное, как отображение картины психической жизни во всей ее полноте, от колыбели до могилы…

Если бы психическая жизнь состояла только из самоочевидных истин – что все еще имеет место на примитивном уровне – то мы смогли бы довольствоваться здоровым эмпиризмом. Но психическая жизнь цивилизованного человека полна проблем; мы даже не можем думать о ней под другим углом зрения. Наши психические процессы состоят большей частью из размышлений, сомнений, опытов, в основе своей совершенно чуждых бессознательному, инстинктивному уму первобытного человека. Именно росту сознания мы обязаны существованием проблем, воплощающим данайский дар цивилизации. Именно отрыв человека от инстинкта – его противопоставление себя инстинкту – создает сознание. Инстинкт – это часть природы, и он стремится увековечить природу, тогда как сознание может лишь стремиться к культуре или к ее отрицанию. И даже когда мы возвращаемся к природе, вдохновленные тоской по ней в духе Руссо, мы "облагораживаем" ее. До тех пор, пока мы еще погружены в природу, у нас нет сознания, и мы живем под защитой инстинкта, не знающего проблем. Все, что осталось в нас от природы, бежит проблем, поскольку они суть сомнения, а где властвует сомнение, там и неопределенность, и возможность выбора. А где есть возможность выбора, там инстинкт более не управляет нами, и мы предаемся страху. Ибо сознание ныне призвано сделать то, что природа всегда делала для своих детей: а именно, принять определенное, бесспорное и безошибочное решение. И здесь нас охватывает слишком человеческий страх за то, что сознание – наша Прометеева победа – в конечном итоге не сможет послужить нам так же хорошо, как природа.

Таким образом, проблемы вовлекают нас в состояние одиночества и изоляции, где мы оставлены природой и стремимся к сознанию. Для нас нет другого пути; мы вынуждены прибегать к сознательным решениям и действиям там, где раньше доверялись естественному ходу событий. Следовательно, любая проблема несет в себе возможность расширения сознания, но вместе с тем и необходимость расставания с детской неосознанностью своих поступков и верой в природу. Эта необходимость является психическим фактом такого значения, что он лег в основу одного из самых существенных символов христианства. Речь идет о жертве простого человека природы, не осознающего себя бесхитростного существа, чья трагическая карьера началась со съеденного в раю яблока. В библейском сюжете грехопадений человека приход сознания рассматривается как проклятие. И действительно, именно в этом свете мы первоначально воспринимаем каждую проблему, подталкивающую нас в сторону сознания и все дальше удаляющую нас от рая бессознательного детства. Каждый из нас с удовольствием поворачивается спиной к своим проблемам, стремясь, по возможности, не слышать о них или – еще лучше – забыть об их существовании. Мы желаем, чтобы наша жизнь была простой, определенной, успешной и поэтому проблемы для нас – запретная тема. Мы хотим определенности, но не сомнений, результатов, но не экспериментов, как будто бы не видя, что определенность может возникнуть только через сомнения, а результат – только через опыт. Искусное отрицание проблемы не приведет к убеждению - напротив, требуется более широкое и глубокое сознание для того, чтобы дать нам определенность и ясность, в которых мы нуждаемся.

(…) Как только мы задаем себе неизбежный вопрос: "Почему человек в отличие от представителей животного мира вообще имеет проблемы?" – мы попадаем в замкнутое переплетение мыслей, узор которого создавался на протяжении столетий многими тысячами проницательных умов. Я не собираюсь брать на себя сизифов труд по совершенствованию этого шедевра путаницы, но постараюсь внести свой скромный вклад в копилку подходов человека к решению этого важного вопроса.

Не может быть проблем без их осознания, а значит, и без сознания. Поэтому необходимо поставить вопрос иначе "Как впервые возникает сознание?" На этот вопрос никто не может ответить с уверенностью, но мы можем наблюдать маленьких детей в процессе формирования их сознания. Это доступно любому родителю, если он будет внимателен. А видим мы следующее, когда ребенок узнает кого-либо или что-нибудь, то есть когда он "знает" человека или вещь, тогда мы понимаем, что у ребенка появилось сознание, и, конечно, поэтому роковой плод в раю вырос именно на дереве познания.

Но что такое узнавание или "знание" в этом смысле? Мы говорим о "знании" чего-либо, когда нам удается установить связь между новым восприятием и уже существующим контекстом таким образом, что мы держим в сознании не только это восприятие, но также и части данного контекста. Следовательно, "знание" основано на воспринятой связи между психическим содержимым. Мы не можем иметь знания о содержимом, ни чем не связанном, и мы даже не можем осознать его присутствие, если наше сознание еще на самом низком уровне. Таким образом, первая стадия сознания, которую мы можем наблюдать, состоит в простом увязывании двух и более психических содержимых. На этом уровне сознание спорадично и ограничивается пониманием нескольких связей, когда содержимое позже не сохраняется в памяти.

Не подлежит сомнению, что в ранние годы жизни нет непрерывной памяти, есть только – и это самое большее – островки сознания, подобные отдельным лампадам или освещенным объектам в кромешной тьме. Но эти островки памяти не идентичны тем самым ранним связям, которые просто восприняты; они содержат совокупность нового очень важного содержимого, связанного с восприятием самого субъекта, – так называемое эго.

Эта совокупность, подобно первоначальной, сначала просто воспринимается, и по этой причине ребенок естественно начинает говорить о себе как об объекте – в третьем лице. Лишь позже, когда эго-содержимое, так называемый эго-комплекс, приобретает собственную энергию (вероятнее всего, в результате тренировки и практики), возникает чувство субъективности или "Самости". Видимо, в этот момент ребенок и начинает говорить о себе в первом лице. На этой стадии, вероятно, начинается непрерывность памяти. Следовательно, по своей сущности это будет непрерывная последовательность эго-воспоминаний.

На детской стадии сознания проблем еще нет, ничто не зависит от субъекта, ребенок полностью зависит от своих родителей. Как будто он еще не полностью родился и окружен психической атмосферой своих родителей. Психическое рождение, а с ним и сознательная дифференциация от родителей, обычно имеет место лишь в период полового созревания, вместе с взрывом сексуальности. Это физиологическое изменение сопровождается психической революцией. Ибо различные телесные проявления дают такой импульс эго, что оно часто начинает утверждаться без ограничения или умеренности. Иногда эту стадию называют "невыносимым возрастом".

До достижения этой стадии психическая жизнь индивида направляется главным образом инстинктивно, и практически не возникает. Даже когда внешние ограничения противоречат его субъективным импульсам, эти ограничения не приводят индивидуума к разладу с самим собой. Он подчиняется им или обходит их, оставаясь внутренне целостным. Он еще не знает состояния внутреннего напряжения, вызываемого проблемой. Такое состояние возникает только тогда, когда внешнее ограничение становится внутренним: когда импульс противопоставляется другому…

Подытожим сказанное: первая стадия сознания состоит из простого узнавания или "знания" и представляет собой неупорядоченное или хаотическое состояние. Вторая стадия – стадия развитого эго-комплекса является абсолютной или монической. Третья являет собой еще один шаг углубления сознания и включает постижение разделенного, дуалистичного состояния.

Вот здесь мы и подходим к нашей действительной теме – проблеме стадий жизни. Прежде всего, мы должны рассмотреть период юности. Он охватывает, в первом приближении, годы непосредственно после полового созревания и до периода середины жизни, который начинается в отрезке между тридцать пятым и сороковым годами.

Меня могут спросить, почему я начинаю со второй стадии жизни, словно нет проблем, связанных с детством. Сложная психическая жизнь ребенка является, конечно, проблемой первостепенной важности для родителей, преподавателей и врачей, но в нормальных условиях ребенок не имеет реальных собственных проблем. Ведь сомневаться в себе и быть в разладе с самим собой может лишь взрослый человек.

Все мы знакомы с источником проблем, которые возникают в период юности. Для большинства людей – это требования жизни, которые грубо кладут конец мечтаниям детства. Если индивидуум достаточно хорошо подготовлен, то переход к профессии или карьере может пройти гладко, но если он подвержен иллюзиям, расходящимся с реальностью, тогда наверняка возникнут проблемы. Все мы вступаем в жизнь, отталкиваясь от определенных предположений, которые иногда оказываются ложными, то есть не соответствуют условиям, в которых оказывается человек.

Часто это вопрос преувеличенных надежд, недооценки трудностей, необоснованного оптимизма или негативной установки. Каждый может составить целый список ложных предположений, которые становятся источником появления первых осознанных проблем.

Однако не всегда причиной проблем является противоречие между субъективными предположениями и внешними факторами, так же часто причиной могут быть внутренние психические трудности. Они могут существовать даже в том случае, когда во внешнем мире дела идут успешно. Очень часто причиной является нарушение психического равновесия, вызванное половым инстинктом; в равной мере часто причиной становится чувство неполноценности, возникающее из-за невыносимой чувствительности.

Такие внутренние конфликты могут существовать даже тогда, когда адаптация к внешнему миру была достигнута без видимого усилия. Иногда даже кажется, что молодые люди, которым пришлось вести трудную борьбу за существование, лишены внутренних проблем, тогда как те молодые люди, которые по тем или иным причинам не испытывали трудностей с адаптацией, сталкиваются с сексуальными проблемами или конфликтами из-за чувства неполноценности…

Если попытаться извлечь общие и существенные факторы из почти неисчерпаемого разнообразия индивидуальных проблем, обнаруживаемых в период юности, то мы увидим во всех случаях одну характерную черту - более или менее явно выраженную привязанность к уровню сознания детских лет, сопротивление роковым силам внутри и вокруг нас, влекущим нас в мир. Что-то внутри нас стремится остаться ребенком, не осознавать или, в лучшем случае, сознавать только эго, отвергать все незнакомое или же подчинять его нашей воле ничего не делать или же предаваться жажде удовольствий и власти. Во всем этом есть что-то от инерции материи - это устойчивость предыдущего состояния, в котором диапазон сознания меньше, уже и эгоистичнее, чем в дуалистической фазе. Ибо здесь индивид сталкивается с необходимостью познать и принять нечто необычное и незнакомое в качестве части собственной жизни, своего рода "второго Я".

Существенной чертой дуалистической фазы является расширение жизненного горизонта, которое встречается с яростным сопротивлением. Если быть совсем точным, такое расширение или диастола, как его назвал Гете, начинается задолго до этого - а именно при рождении, когда ребенок покидает узкую оболочку материнского тела. С тех пор оно устойчиво нарастает, пока не достигнет вершины проблематического состояния, когда индивидуум начинает бороться с ним.

Что же случилось бы с человеком, если он просто слился бы с кажущимся незнакомым "вторым Я", позволив предыдущему эго кануть в прошлое? Мы можем предположить, что это был бы вполне практичный шаг. Сама цель религиозного образования, начиная с запугивания Адама и вплоть до ритуалов возрождения у первобытных племен, заключается в преобразовании человеческого существа в нового, будущего человека, позволяя старому умереть…

Но серьезные проблемы жизни никогда полностью не решаются. Бели все же создается впечатление, что они решены, это верный признак того, что что-то упущено. Похоже, что значение и цель проблемы состоит не в ее решении, а в нашей непрестанной работе над ней. Только это спасает нас от оглупления и остановки в развитии.

Точно так же решение проблем юности путем ограничения себя лишь достижимыми целями является временно эффективным и не долговечным в глубоком смысле средством. Конечно, завоевание себе места в обществе и такое преобразование своего характера, чтобы он более или менее подходил к такой форме существования, является во всех случаях значительным достижением. Эту борьбу, ведущуюся как внутри себя, так и во вне, можно сравнить с борьбой ребенка за эго.

Эта борьба большей частью невидима, потому что ведется во тьме, но когда мы видим, как детские иллюзии, претензии и эгоистические привычки все еще липнут к человеку и в зрелые годы, становится чуть-чуть понятно, какая энергия участвовала в их формировании. Так же обстоит дело с идеалами, убеждениями, принципами и взглядами, которые в юности выводили нас в жизнь. За них мы боролись, страдали и одерживали победы. Они росли вместе с нами, и мы явно изменились, слившись с ними, мы стремились увековечить их и сделать само собой разумеющимися точно так же, как молодой человек утверждает свое эго вопреки этому миру и, зачастую, вопреки самому себе.

Чем ближе мы подходим к середине жизни, и чем успешнее нам удается укрепиться в наших личных взглядах и общественном положении, тем больше мы убеждаемся в том, что мы идем верным курсом, и в правильности наших идеалов и принципов поведения. По этой причине они переходят для нас в разряд вечных ценностей, и мы считаем добродетелью неизменную приверженность им. При этом мы упускаем из виду тот существенный факт, что общественно значимая цель достижима лишь ценой сокращения индивидуальности. Многие, слишком уж многие аспекты жизни, которые мы должны были бы испытать, пылятся ненужной рухлядью в кладовых памяти, но иногда они тлеют невидимыми угольями под серой золой.

Мы видим, что в этой фазе жизни – между тридцатью пятью и сорока годами – в человеческой психике происходит подготовка важных изменений.

На первых порах перемены неосознанны и неуловимы. Скорее, это косвенные признаки перемен, вероятно, еще только зарождающихся в подсознании. Часто это похоже на легкое изменение в характере человека; в других случаях могут дать о себе знать некоторые черты, не появлявшиеся со времен детства, или же – наоборот, начинают ослабевать имеющиеся склонности и интересы человека, а вместо них появляются другие. С другой стороны, и это происходит очень часто, заветные убеждения и принципы человека, особенно нравственные, начинают затвердевать и становиться все более жесткими до тех пор, пока где-то в возрасте около пятидесяти лет не наступит период нетерпимости и фанатизма. Как будто существование этих принципов оказалось под угрозой, и потому возникла необходимость выделить их как можно больше.

Подобно тому, как незрелую личность, детство которой затянулось, страшит неизвестное в этом мире и в человеческом существовании, так и взрослого человека страшит вторая половина жизни. Словно его ожидают неведомые и опасные задачи или будто ему угрожают жертвы и утраты, которые он не желает принять, или как будто прожитая жизнь показалась ему вдруг столь прекрасной и ценной, что он не может расстаться с ней.

Может быть, подо всем этим скрывается страх смерти? Это не представляется мне слишком вероятным, потому что, как правило, смерть еще далеко в будущем, и, следовательно, является чем-то абстрактным. Опыт показывает нам, что основную причину всех трудностей этого переходного состояния скорее следует искать в глубоких и весьма особенных изменениях внутри психики.

Чтобы охарактеризовать это состояние, я хотел бы взять для сравнения суточное движение солнца, но только такого солнца, которое наделено человеческими чувствами и ограниченным сознанием. Утром оно поднимается из ночного моря бессознательного и взирает на обширный яркий мир, который простирается перед ним в пространстве, постоянно расширяющемся по мере того, как оно поднимается по небесному своду. В этом расширении своего поля деятельности, вызванного собственным подъемом, солнце обнаруживает свое значение: достижение максимально возможной высоты и максимально широкое распространение света и тепла видится ему целью. В этом убеждении солнце движется своим путем к невидимому зениту – невидимому, потому что его маршрут уникален и индивидуален, и кульминационную точку нельзя вычислить заранее. По достижении полудня начинается заход, а заход означает пересмотр всех идеалов и ценностей, лелеемых с утра. Солнце начинает противоречить самому себе. Получается, что оно должно не испускать лучи, а втягивать их. Свет и тепло уменьшаются и, наконец, исчезают.

Все сравнения неубедительны, но данное сравнение, по крайней мере, не хуже других. Французский афоризм обобщает это цинической констатацией: "Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait" (Если бы юность хотела, если бы старость могла (фр.).

В заключение я хотел бы вернуться ненадолго к сравнению с солнцем. Сто восемьдесят градусов дуги жизни делятся на четыре части

Первая четверть, лежащая к востоку, – это детство, состояние, в котором мы являемся проблемой для других, но еще не осознаем собственных проблем. Осознанные проблемы заполняют вторую и третью четверти, тогда как в последней четверти, находясь в глубоко преклонном возрасте, мы вновь опускаемся в такое состояние, когда независимо от качества нашего сознания мы опять становимся некоторой проблемой для других. Детство и преклонный возраст, конечно, весьма различны, однако, у них есть одна общая черта – погружение в бессознательные психические явления. Поскольку ум ребенка вырастает из бессознательного, его психические процессы не сложно, хотя и не так легко, различить в отличие от таких же процессов у очень старого человека, который вновь погружается в бессознательное, все, более исчезая в нем. Детство и старость – это стадии жизни без каких-либо осознанных проблем, вот почему я и не рассматривал их здесь.

**Вопросы к тексту:**

1. В чем автор видит причину проблем человеческой жизни?
2. Что такое сознание и как впервые, по мнению К. Г. Юнга, возникает сознание?

Какие стадии жизни проходит человек в своем развитии, и какие проблемы (конфликты) он решает на каждой из них?

ФРОММ ЭРИХ

Фромм Эрих (1900–1980) – немецко-амери-канский философ, антрополог, социолог и психолог, крупнейший представитель так называемого, неофрейдизма. Родился и учился в Германии. После окончания Гейдельбергского университета получил степень доктора философии (1922). Осваивал курс психоанализа в Психологическом институте в Берлине (1923–1924 г.). До 1933 г. работал в различных научно-исследовательских учреждениях Германии. После прихода к власти нацистов эмигрировал в США (1933), где и продолжил преподавательскую и научную работу. С 1951 по 1967 гг. жил и работал в Мексике, возглавлял Институт психоанализа в Мехико. В 1974 г. переехал в Швейцарию, где и жил последние годы. Фромм скончался 18 марта 1980 г., не дожив 5-ти дней до своего 80-летия.

Наиболее крупные работы, принесшие известность Фромму: "Бегство от свободы" (1941), "Человек для себя" (1947),"Искусство любить" (1956), "Дзен-буддизм и психоанализ" (1960), "Революция надежды"(1968), "Анатомия человеческой деструктивности" (1973), "Иметь или быть?" (1976) и др.

Все работы Э. Фромма можно рассматривать как своеобразную антитезу сложившейся в ХХ в. сциентистской направленности и позитивистской традиции выстраивать философию по меркам науки, писать о тайнах познания, о природе рациональности, о законах логики и т.д. Рассуждать о "душе человека" или об "искусстве любить", или о том, что важнее: "быть или казаться" – значило "идти не в ногу". Но именно верностью антропологической теме во многом и объясняется популярность Фромма, работы которого не утратили своей актуальности и поныне.

Фромма интересовали вопросы природы и сущности человека, параметры и реалии человеческого существования, характер человеческой субъективности и индивидуальности, пути становления и развития человека, его личностные проявления.

Некоторые исследователи считают, что можно выделить ряд плодотворных идей, которые оказали существенное влияние на формирование философской антропологии ХХ в. Первая из них принадлежит Э. Кассиреру. Именно он определил человека как "символическое животное", описав и раскрыв существо символических форм культуры: языка, религии, мифов, языка науки и т.д., тем самым позволив по-новому взглянуть на тайну антропогенеза.

Вторая связана с именем Макса Шелера. По-новому осмыслив ницшеанскую мысль о человеке как незавершенном существе, Шелер и его последователи определили человека как "мыслящее существо", свободное и открытое для саморазвития и преображения. Но где ориентиры, где искать опоры?

Фромм ответил на это однозначно: человек приговорен искать человеческое в себе самом. Именно Фромму принадлежит еще одна поразительная идея философской антропологии ХХ в. Он показал, что спонтанность человеческой природы, его творческое начало как бы пересотворяет самого человека, и не только духовно, но и биологически. Мысль Ницше, Шелера и др., подчеркивающих незавершенность человека, Фромм развил дальше: в человеке по мере движения преображается все – и его природа, и присущая ему субъективность, и его духовное кредо. Человек – и исток, и завершение антропологической картины. В ней нет места никакой другой, кроме него самого, определяющей сущности. Природа человека, его сущность не дана окончательно, она может преображаться радикально. Каков же в таком случае человек? С точки зрения Фромма, он таков, каким может стать. Следовательно, философская антропология призвана промыслить направления возможных преображений, выявить всечеловеческое, как оно складывается в культуре, закрепить в человеке то, что органично присуще только ему как виду Homo sapiens.

Оценивая человека как особый род сущего, Фромм подчеркивает, что не стоит приискивать ему все новые и новые признаки его природы. Не это главное, ибо человек раскрывается через способ его существования – и здесь проявляется его сущность. Человек – данность, которая не имеет своей определенной ниши, своего ареала обитания. Его бытие, в отличие от всех других, исключительно противоречиво. Все, что есть в человеке, как бы отрицает самое себя. Человек принадлежит природе и в то же время отторгнут от нее и противопоставляет себя ей. Он наделен инстинктами, но они не выполняют роль безотказных стимуляторов поведения. Человек имеет смутное представление о нужных и правильных способах своего существования, он блуждает в потемках, ошибаясь и трагически осмысливая свое бытие. Он втиснут в рамки конкретной культуры и конкретного общества, но каждый раз открывает заново для себя истину… Стало быть, человек необычен не в качестве особой формы жизни, а в самом способе своего бытия. Человека невозможно объяснить только в терминах натуралистического к нему подхода: мало что можно уяснить, если сконцентрировать внимание лишь на велениях его плоти, сексуальности и т.п. – что больше было свойственно фрейдизму. Фромм пытается, и с успехом, отойти от явного натурализма, и хотя погружается в исследование мира страстей и стремлений человека, но рассматривает их как возвышенные и низменные манифестации именно человеческого духа, которые далеко выходят за рамки плоти, животных начал

Будучи признанным реформатором фрейдизма, Фромм все же исходит также из тезиса о первичности психических процессов, но он видит перед собой не обособленного индивида, а человека, включенного в социальный процесс. Это и позволило Фромму превратить психоанализ в социальную философию. Фроммовский психологизм ориентирован не только и не столько на постижение интимного мира человека, а на то, как неповторимый склад личности вписывается в социальный процесс, который оказывает существенное воздействие на индивида, преображает его потребности, корректирует его характер. Как поведет себя человек в конкретной ситуации, какой сделает выбор, какие способности станет развивать, каким ценностям поклоняться – вот те вопросы, которые, по мнению Фромма, следует решать этике, аксиологии, философской антропологии.

**\* \* \***

Текст из: Фромм Э. "О любви к жизни"

КТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК?

Вопрос "Кто есть человек?" относится к самой сути дела. Если бы человек был вещью, можно было бы спросить: "Что такое человек?" и давать дефиницию так, как это бывает при определении продуктов природы или предметов производства. Но человек - не вещь, и его нельзя определять подобным образом. И тем не менее человека очень часто рассматривают как вещь. Например, говорят: это рабочий, директор фабрики, врач и т. д., а это значит, определяют согласно его социальной роли, идентифицируют его с его профессиональной функцией в обществе.

Но человек – не вещь, а живое существо, которое можно понять только в длительном процессе его развития. В любой миг своей жизни он еще не является тем, чем может стать и чем он, возможно, еще и станет. Человеку нельзя дать такое определение, как столу или часам, и все же определение этой сущности нельзя считать полностью невозможным.

О человеке можно сказать больше, чем сказано уже: это не вещь, а некий процесс жизни. Самый главный аспект в определении человека состоит в том, что его мышление может простираться за пределы удовлетворения его потребностей. Для человека мышление – это не то, что для животного: это не только средство достижения желаемых благ, но и средство открытия своего собственного бытия в мире, независимо от привязанностей и антипатий. Другими словами, у человека есть не только предметное мышление, как у животного, но и разум, с помощью которого он может постигнуть истину. Если человек руководствуется разумом, то он должен делать все во благо себе, своей сущности, как телесной, так и духовной.

Однако опыт показывает, что многие люди, ослепленные жадностью и тщеславием, в частной жизни ведут себя совсем неразумно. И что еще хуже, поведение целых наций совершенно не соответствует соображениям разума, ибо многие граждане оказываются жертвами демагогии и очень быстро забывают, как, прислушиваясь к советам демагогов, они нанесли ущерб своей стране и другим странам. Многие народы просто погибли из-за того, что были не в состоянии освободиться в своем поведении от иррациональных страстей и заставить себя руководствоваться соображениями разума. И здесь как раз я вижу важную роль ветхозаветных пророков. Некоторые полагают, что пророки предсказывали будущее, но это не так, они провозглашали истину и тем самым косвенным образом указывали на неизбежные последствия нынешнего поведения народа в будущем.

И поскольку человек не вещь, которую можно было описывать со стороны, то его можно определять только с позиций личностного опыта самого человечества. А постановка вопроса "Кто есть человек?" неизбежно приводит к вопросу: "Кто я?" И если мы не хотим впасть в заблуждение и обращаться с человеком как с вещью, то на вопрос "Кто я?" есть только один ответ: "Человек". Правда, люди чаще всего не идентифицируют себя подобным образом. Они рисуют самые невероятные картины, связывая их со своей персоной. А при случае с готовностью говорят о себе: "я – учитель", "я – рабочий", "я – врач". Но такое сообщение о профессии или роде деятельности не дает нам никакой информации о самом человеке и не является ответом на вопрос: "Кто он?" или "Кто я?"

И здесь возникает еще одна трудность. Каждый человек ориентирован на определенные ценности – социальные, моральные, психологические и другие. Как я могу узнать, что путь, по которому движется другой человек, выбран им всерьез и надолго и что он не свернет с этого пути под влиянием каких-либо обстоятельств? Разве есть такой миг в процессе жизни, который следует считать вершиной, кульминацией в формировании личности, о котором можно с полным правом утверждать, что в этот миг человек есть именно то, что он есть, и уже теперь он никогда не станет иным? С точки зрения статистики, разумеется, возможно такое утверждение о многих людях. Но можно ли отнести это к каждому человеку вплоть до его смерти, и сам он может ли сказать о себе, что не стал бы другим, если бы дольше прожил на свете?

Для определения человека можно выбрать другие критерии, например два рода страстей и влечений. Первый род влечений биологического происхождения распространяется практически в равной мере на всех людей. Сюда относится потребность выживания, с которой связаны потребность в пище и питье, потребность в безопасности, в какой-то форме социальной защищенности и, наконец (в значительно меньшей степени), потребность в сексе. Страсти другого рода имеют не биологические корни, и потому они у всех людей разные. Их возникновение связано с различными социальными структурами. К ним относятся любовь, радость, солидарность, зависть, ненависть, ревность, соперничество, стяжательство и т.д. Следует отличать реактивную ненависть от эндогенной. Эти категории употребляются здесь в таком же значении, как в психиатрии: например, эндогенная депрессия в отличие от реактивной. Реактивная ненависть – это реакция на нападение или на любую опасность, угрожающую личности или ее ближайшей группе. Она обычно проходит, когда опасность исчезает. Эндогенная ненависть – это черта характера. Человек, наполненный такой ненавистью, изыскивает все новые и новые возможности, чтобы пережить ненависть.

В противоположность биологически обусловленным страстям так называемые "социально" обусловленные влечения являются продуктом определенной эпохи. В обществе, в котором эксплуататорское меньшинство господствует над несчастным и беззащитным большинством, обе стороны имеют основание для ненависти. Нет нужды объяснять, почему ненавидят эксплуатируемые. А правящее меньшинство ненавидит, во-первых, из страха: они боятся мести угнетенных. Но, кроме того, господствующее меньшинство просто вынуждено поддерживать в себе чувство ненависти к массам, чтобы заглушать в себе чувство вины и оправдать свое эксплуататорское поведение. Ненависть не может исчезнуть, пока отсутствуют равенство и справедливость. Так же точно можно утверждать: нет и не может быть правды, пока люди вынуждены лгать, чтобы оправдать нарушение принципов социальной справедливости.

Многие, конечно, относят принципы справедливости и равенства к идеологиям, которые получили развитие в истории, но не служат фундаментальным свойствам естественного человека.

Я не собираюсь сейчас заниматься детальным опровержением этого взгляда, но хочу подчеркнуть лишь самое главное: я убежден, что человек в самой глубине души своей наделен чувством справедливости. Это доказывается тем, что все люди очень болезненно реагируют, когда кто-либо из представителей враждебной группы покушается на принципы равенства. Людям вообще-то свойственны угрызения совести, это более всего доказывает их реакция на малейшее нарушение равенства и справедливости со стороны других людей, в то время как себя каждый считает в этом отношении непогрешимым. Особенно ярко это проявляется в межнациональных конфликтах. Если бы от природы не было дано чувство нравственности, то вряд ли они бы могли испытывать такие сильные чувства, как возмущение, сострадание, ярость, например, когда им сообщается о злодеяниях, совершенных врагами, о военных преступлениях и т. д.

Следующая дефиниция человека подчеркивает, что это такое живое существо, у которого инстинктивное поведение играет минимальную роль. Разумеется, в его поведении сохраняются остатки инстинктивной мотивации, прежде всего чувства физического и сексуального голода. Однако роль инстинктов усиливается и становится ведущей, когда возникает угроза выживанию индивида или рода. Но главные человеческие страсти – тщеславие, зависть, ревность, мстительность – обычно обусловлены социальными причинами. А то, что эти страсти бывают даже сильнее инстинкта самосохранения, – это факт, говорящий о многом. Ведь люди готовы жертвовать жизнью не только ради своей любви и признания, но из чувства тщеславия, ревности или ненависти.

Самой ужасной из всех человеческих страстей я считаю стремление более сильного использовать другого человека как средство достижения своих эгоистических целей. Это не что иное, как утонченная форма каннибализма. В обществе периода неолита еще не существовало такой формы эксплуатации. А современному человеку кажется почти невероятным, что в какой-то исторический период человечество вообще не знало эксплуатации. А ведь было такое время! В первобытных культурах земледельцы и охотники совсем не стремились создавать больше вещей, чем нужно было для поддержания жизни рода. Частная собственность не могла стать капиталом и не способствовала увеличению власти. Эта фаза мышления отражается в ветхозаветных легендах. Так, в пустыне дети Израиля питаются манной. Ее было очень много, и каждый мог есть сколько душе угодно, но не копить. Пища, которая в тот же день не съедалась, портилась и исчезала. И размышления о сохранении манны "на потом" не имели никакого смысла. Продукты более позднего времени – урожай, орудия труда – не исчезают и не портятся, как манна небесная, их можно накапливать, и тот, кто больше накопит, становится более могущественным. И только когда излишки превысили уже некоторый предел, власть имущие утратили необходимость силой заставлять других людей работать на себя и довольствоваться минимальной частью произведенного продукта. После победы патриархального государства основной эксплуатируемой частью населения были рабы, рабочие и женщины.

Однако каннибальская предыстория человечества может закончиться лишь тогда, когда человек перестанет быть средством потребления для своего более сильного собрата. Только тогда может начаться собственно человеческая история. Поэтому необходимо отдавать себе отчет в том, как преступны наши каннибальские обычаи и нравы. Причем полного осознания еще недостаточно, пока не включается механизм раскаяния.

Раскаяние – это больше, чем сожаление. Раскаяние – это сильное аффективное чувство: раскаявшийся испытывает омерзение к себе самому и своим поступкам. Подлинное раскаяние и связанное с ним чувство стыда – это единственная форма человеческого опыта, которая может воспрепятствовать повторению уже раз совершенного преступления. Если этого нет, возникает впечатление, что преступления вовсе и не было. Где же найти примеры настоящего раскаяния? Раскаивались ли израильтяне в уничтожении более древних племен? А американцы в почти тотальном искоренении индейцев? Нет. Уже тысячи лет человек живет в такой социальной системе, где победителя не судят, ибо слово "власть" выступает синонимом слова "право". Поэтому каждому следует задуматься о преступлениях, совершенных нами и нашими предками. Надо осознать еще и то, что вина у всех разная, ибо одни совершали явные преступления при молчаливом попустительстве других. Но и те и другие нуждаются в том, чтобы покаяться открыто. Римско-католическая церковь дает индивиду такую возможность пробуждения совести во время исповеди. Но индивидуального раскаяния недостаточно, ибо оно не затрагивает преступлений, совершаемых группой, классом или нацией, а особенно – государством, которое вообще не подчиняется требованиям совести. До тех пор, пока мы не отважимся на "признание своей национальной вины", люди останутся в шорах стереотипного мышления: когда резко осуждаются преступления врагов при полной слепоте в оценке преступлений своего народа. И в самом деле, разве может отдельный человек всерьез начать жизнь по законам совести, если целые нации, претендующие на роль защитников морали, в своих действиях игнорируют нравственные заповеди? Нет. Если спит совесть нации, то неизбежным следствием этого будет молчание каждого отдельного гражданина, ибо совесть неделима, как сама истина.

Если человек хочет, чтобы его поступки были разумны, он не должен допустить разгула своих иррациональных страстей. Интеллект остается таковым даже тогда, когда ему отведена отрицательная роль. Разум дает знание о реальной действительности, как она есть, а не какой мы хотим ее видеть в интересах нашего дела, – и потому он оказывается действенным лишь настолько, насколько одерживает победу над иррациональными страстями, то есть настолько, насколько человек становится действительно человеком, и слепые страсти перестают быть главной движущей силой его поведения.

Здесь мы должны коснуться одного важного вопроса: а какие страсти необходимы для выживания человечества. Агрессия и разрушительность, конечно, играют определенную роль, они служат делу уничтожения одной группы ради выживания другой, но в отношении человечества в целом это выглядит несколько иначе. Если бы агрессия стала всеобщей, то она могла бы привести не только к гибели отдельных групп населения, но и к исчезновению всего человеческого рода. Раньше такие идеи считались чисто спекулятивными фантазиями. Сегодня вопрос о выживании человечества без преувеличения самый жгучий вопрос современности, ибо человек располагает такими средствами самоуничтожения, перед которыми любовь к жизни может оказаться бессильной. Сегодня можно сказать, что действующий во всех суверенных государствах и считающийся необходимым принцип "выживает сильнейший" может вести к полному самоуничтожению. В XIX веке Эмерсон сказал: "Вещи оседлали человека и гонят его вскачь". Сегодня можно сказать: "Вещи – это идолы, а их обожествление может в конце концов погубить самого человека". Всем известно широко распространенное суждение, что возможности формирования личности неограниченны, и на первый взгляд оно кажется убедительным. Изучение человеческого поведения на протяжении веков показывает, что нет практически такого дела, которое было бы не под силу человеку – даже самым обыкновенным людям, не говоря уже об особо одаренных. Но идея безграничных возможностей формирования нуждается в уточнении. Дело в том, что за любые действия, не способствующие развитию и совершенствованию личности, приходится расплачиваться. Каждый платит свою цену: эксплуататор – боится эксплуатируемого; убийца боится оказаться изолированным от общества; разрушитель страшится своей совести; для безрадостного потребителя есть лишь одна опасность: жить, но не чувствовать себя живым.

В утверждении о бесконечном многообразии вариантов и форм поведения таится и такая мысль, что здоровый с точки зрения физиологии индивид может быть уродом с точки зрения собственно человеческих качеств – и такой человек чувствует себя несчастным, безрадостным и в конечном счете становится злобным и разрушительным существом. Невзирая на возможные генетически обусловленные патологические обстоятельства, человек рождается психически здоровым. Нарушения происходят под влиянием других людей – тех, кто стремится к абсолютной власти, кто ненавидит жизнь, терпеть не может, когда кто-то радостно смеется. И если в дальнейшем ребенок превратится в урода, то такие негативисты не упустят возможности объявить дурное поведение ребенка причиной своей враждебности, в то время как на самом деле такое поведение – следствие отрицательной установки взрослого.

Как и почему у человека возникает желание искалечить другого? Ответ на этот вопрос также следует искать в том, что еще и поныне сохраняется проблема каннибализма. С психически неполноценным легче справиться, чем с сильным и здоровым. Сильный может дать сдачи, а слабый – нет: он оказывается беспомощным перед злой волей властвующего. И чем сильнее группа управляющих психически калечит управляемых, тем проще их эксплуатировать, то есть использовать как средство для достижения поставленных целей.

Поскольку человек наделен разумом, он способен, критически анализируя свой опыт, понять, что способствует его развитию, а что препятствует. Он стремится к возможно более гармоническому развертыванию всех своих физических и духовных сил с целью достижения состояния благоденствия. Противоположностью благоденствия служит подавленность или депрессия, как это показал Спиноза. Поэтому радость – это продукт разумности, а депрессия – следствие неверного образа жизни. И этот принцип очень четко просматривается в тексте Ветхого завета; ведь у израильтян считалось тяжелым грехом жить в изобилии, но без радости.

Основные ценности индустриального общества находятся в конфликте с благоденствием человека. В чем состоят эти ценности?

Первая ценность – овладение природой. А разве доиндустриальное общество не осваивает природу? Разумеется, осваивает, иначе человек давно бы умер с голоду. Однако способ освоения природы в индустриальном обществе отличается от аграрного общества. Особенно с той поры, как в освоение природы была привнесена техника. Применение техники для производства вещей основано на использовании интеллектуального потенциала. Техника – это всего лишь дополнение к разуму, отцовский эрзац материнского лона. В Ветхом завете описывается, как Бог создал мир словом, в то время как в более старых вавилонских мифах о сотворении еще говорится, что мир рожден (в прямом смысле этого слова) и родительница его Великая Матерь.

Второе место в системе ценностей индустриального общества занимает использование человека – силой, или подкупом, или, чаще всего, комбинацией того и другого.

Третья ценность состоит в том, что торговля должна быть прибыльной. В индустриальном обществе стремление к прибыли не столько выражение личной жажды наживы, сколько показатель экономически грамотного поведения. Здесь все производство идет не ради потребления, хотя большинство товаров должно иметь определенную потребительскую стоимость (или покупательную), но производство развивается исключительно ради прибыли. Это означает, что результат моей экономической деятельности должен быть таков, чтобы я заработал больше, чем затратил на приобретение товара. Проблема прибыльности освещается порой совершенно неверно: например, когда стремление к прибыли рассматривается наряду с жадностью и включается в группу психологических черт личности. Это явное заблуждение. На самом деле встречаются такие случаи, но не они выступают определяющими в индустриальном обществе, где прибыль – это всего лишь мера успешности экономического поведения и тем самым мера профессиональной пригодности.

Четвертая классическая ценность индустриального общества – конкуренция. Опыт показывает, что усиливающаяся централизация и укрепление отдельных предприятий ведут к тому, что соперничество крупных концернов и фирм переходит в сотрудничество, а конкуренция остается скорее уделом отдельных мелких торговцев. Сегодня нашей экономической торговле в целом недостает эмоциональных отношений между продавцом и покупателем. Раньше существовала совершенно особая эмоциональная связь между торговцем и его клиентом. Торговец проявлял живой интерес к клиенту, и процесс купли-продажи означал больше, чем просто финансовую операцию. Торговец ощущал известное удовлетворение, когда продавал клиенту именно то, в чем тот нуждался и что соответствовало его вкусам. Сегодня такое отношение к клиенту – это скорее исключение, чем правило, такое встретишь разве что в маленьких старомодных лавчонках. А в современных дорогих универмагах улыбки персонала – это лишь внешняя оболочка равнодушия, в них нет ни грамма искренности, просто за эти улыбки они получают свое высокое жалованье.

Наконец, в-пятых, следует добавить, что в нашем веке значительно снизилась способность к сопереживанию. Да и способность страдать – тоже почти исчезла. Я не хочу сказать, разумеется, что люди нынче страдают меньше, чем прежде; но каждый живет в таком отчуждении, в таком разладе с самим собой, что не способен в полной мере даже осознать свои страдания. Люди воспринимают свои страдания как некую данность, как хронический больной, привыкший к своей боли, замечает ее лишь тогда, когда интенсивность ее превосходит обычную меру. Но не следует забывать, что страдание – это, пожалуй, единственный аффект, который свойствен всем людям, и даже, возможно, всем живым существам, обладающим способностью ощущать. Поэтому страждущий человек находит утешение в человеческой солидарности, когда узнает о всеобщем характере страдания.

Существует очень много людей, которые ни разу в жизни не испытали счастья. Но нет таких, кто бы ни разу не страдал. И как бы люди ни пытались вытеснить из сознания свои переживания, вряд ли удастся найти человека, который бы прожил жизнь без страданий. Поэтому сочувствие нераздельно связано с любовью к человеку. Где нет любви, там не может быть сопереживания. Противоположность сопереживанию – равнодушие, и равнодушие можно определить как патологическое состояние шизоидного характера. А то, что называют любовью к единственному отдельному человеку, нередко оказывается всего лишь зависимостью; кто любит, лишь одного-единственного человека, не любит никого.

*Источник*: Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.: Республика, 1993. – С. 380 – 387.

**Вопросы к тексту:**

1. На какие трудности указывает Э. Фромм в определении человека, его сущности?
2. Достаточно ли определять человека, по мнению Фромма, через его социальные роли?
3. Какие две группы страстей выделяет Фромм, как он их подразделяет?
4. Что (какую страсть) он считает самой "ужасной"?
5. Как он характеризует индустриальное общество с точки зрения ценностей? С чем Вы согласны, с чем – нет?